

Книга непокоя

Автор:

Фернандо Пессоа

Книга непокоя

Фернандо Пессоа

Впервые опубликованная спустя пятьдесят лет после смерти Фернандо Пессоа (1888–1935), великого португальского поэта начала XX столетия, «Книга непокоя» является уникальным сборником афористичных высказываний, составляющих автобиографию Бернарду Соареша, помощника бухгалтера в городе Лиссабоне, одной из альтернативных личностей поэта. Эта «автобиография без фактов» – проза поэта или поэзия в прозе, глубоко лиричные размышления философа, вербальная живопись художника, видящего через прозрачную для него поверхность самую суть вещей.

«Книга непокоя» призвана, загипнотизировав читателя, ввести его в самое сердце того самого «непокоя», той самой жажды-тоски, которыми переполнены все произведения Пессоа.

В новом переводе Александра Дунаева. Настоящее издание также дополнено заметками и отрывками из писем Фернандо Пессоа.

Фернандо Пессоа

Книга непокоя

Fernando Pessoa

Livro Do Desassossego

Ольга Сапрыкина благодарит студентов МГУ им. М. В. Ломоносова за участие в работе над редактурой книги – Ольгу Григорьеву, Анну Лябихову, Анастасию Кузнецову, Екатерину Соловьеву и Татьяну Юдову

© Дунаев А. Л., перевод, 2018

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2018

* * *

Предисловие

Есть в Лиссабоне немного ресторанов или харчевен, в которых над лавкой, выглядящей как приличная таверна, возвышается антресоль, своим тяжеловесным и скромным видом напоминающая кабак в маленьком городе, через который не проходят поезда. На антресоли, куда, за исключением воскресений, мало кто заходит, часто встречаются любопытные персонажи, безучастные лица, чудаки, ведущие обособленную жизнь.

В определенный период моей жизни желание покоя и умеренные цены часто приводили меня в одну из таких антреселей. Когда мне доводилось ужинать около семи часов, так случилось, что я почти всегда встречал одного человека, внешний вид которого поначалу мне был безразличен, но со временем заинтересовал меня.

Это был мужчина на вид лет тридцати, худой, скорее высокий, чем низкий, сильно сутулившийся, когда сидел, но выпрямлявший спину, когда стоял, одетый несколько небрежно, но не выглядевший совершенно небрежно. Печать страдания на бледном лице, черты которого не вызывали интереса, оригинальности ему не прибавляла, и было трудно определить, на страдание какого рода эта печать указывала – казалось, она указывала на различные лишения, тоску и на то страдание, что рождается от безразличия, которое

свойственно тем, кто много страдал.

За ужином он всегда ел мало и после всегда выкуривал самокрутку. Он чрезвычайно внимательно разглядывал окружающих его людей, не с подозрением, а с особым интересом; однако наблюдал он за ними не пытливо, а так, словно ими интересовался, не желая при этом изучать их черты или вникать в проявления их характера. Эта любопытная черта изначально и возбудила во мне интерес к нему.

Я стал к нему присматриваться и убедился, что некое интеллигентное выражение придавало неопределенную живость его чертам. Но подавленность, оцепенение ледяной печали настолько часто покрывали его облик, что было трудно разглядеть какие-либо другие особенности, помимо этой.

От одного официанта из ресторана я узнал, что он был торговым служащим в одной компании, расположенной неподалеку.

Однажды на улице, под окнами, случилось происшествие – кулачная драка между двумя типами. Те, кто находился на антресоли, кинулись к окнам, и я тоже, вместе с тем человеком, о котором я рассказываю. Я бросил ему случайную фразу, и он мне ответил что-то в том же духе. У него был низкий дрожащий голос, как у тех, кто ни на что не надеется, потому что надеяться совершенно бесполезно. Но, пожалуй, нелепо было придавать такое значение моему вечернему собеседнику из ресторана.

Не знаю почему, но с того дня мы начали здороваться. В обычный день, когда нас, возможно, сблизило то нелепое обстоятельство, что мы оба пришли ужинать в половину десятого, между нами завязался случайный разговор. В какой-то момент он спросил, пишу ли я. Я ответил утвердительно и рассказал ему о недавно появившемся журнале «Орфей»[1 - «Орфей» – ежеквартальный литературный журнал, положивший начало проникновению движения модернизма в Португалии. Его первый номер, вышедший в марте 1915 года и включавший в себя, среди прочих, несколько поэм Пессоа, вызвал оживленную полемику в португальской литературной среде. Пессоа выступил редактором второго номера журнала, опубликованного в июне того же года. Велась работа по подготовке третьего номера, однако он так и не увидел свет из-за трудностей с финансированием журнала. Несмотря на непродолжительное существование, журнал оставил заметный след в истории португальской культуры.]. Он его похвалил, похвалил обстоятельно, чему я искренне удивился. Я позволил себе

заметить, что мне это было странно, потому что мастерство тех, кто пишет для «Орфея», обычно доступно немногим. Он ответил, что, возможно, был одним из этих немногих. Впрочем, добавил он, это искусство для него не стало чем-то новым: он робко заметил, что, поскольку ему некуда ходить и нечего делать, у него нет друзей, которых он мог бы навещать, и ему неинтересно читать книги, то по ночам он имеет обыкновение писать в своей съемной комнате.

* * *

Он обставил – это не могло ему не стоить отказа от некоторых жизненно важных вещей – с некоторой роскошью обе свои комнаты. Особое внимание он уделил стульям – они были с подлокотниками, обивкой, пружинами, – а также занавескам и коврам. Он говорил, что создал такой интерьер, «чтобы поддержать достоинство тоски». В комнате, обставленной в современном стиле, тоска превращается в дискомфорт, в физическую боль.

Ничто никогда не вынуждало его что-либо делать. Детство он провел в уединении. Так случилось, что он никогда не примыкал ни к каким группам. Никогда не посещал никаких курсов. Никогда не был частью толпы. В нем проявился тот любопытный феномен, который проявляется во многих – кто знает, при ближайшем рассмотрении, быть может, и во всех, – случайные обстоятельства его жизни сложились по образу и подобию того направления, куда двигались его инстинкты, полностью predetermined бездействием и обособленностью.

Ему никогда не приходилось сталкиваться с требованиями государства или общества. От требований же своих инстинктов он уклонился. Ничто никогда не сближало его ни с друзьями, ни с возлюбленными. Я был единственным человеком, который, в определенном смысле, стал ему близок. Но, несмотря на то что я всегда ощущал притворство его личности и подозревал, что он меня, на самом деле, никогда не держал за друга, я всегда чувствовал, что он должен был призвать к себе кого-то, чтобы оставить ему ту книгу, которую он оставил. Мне приятно думать, что, пусть даже поначалу, когда я это заметил, мне это причиняло боль, в конце концов, глядя на все исключительно глазами психолога, я таким образом стал ему другом, предназначенным для цели, ради которой он меня к себе приблизил – для издания этой книги.

Забавно осознавать, что и здесь жизненные обстоятельства ему благоприятствовали: они свели его со мной, человеком, по типу своего характера способным сослужить ему в этом деле немалую службу.

В этих впечатлениях без связи, без желания что-либо связывать я бесстрастно повествую свою автобиографию без фактов, мою историю без жизни. Это моя «Исповедь», и если я в ней ничего не говорю, то это потому, что сказать мне нечего.

Фернандо Пессоа

Часть первая

Дневник Бернарду Соареша, помощника бухгалтера в городе Лиссабоне

1.

Я родился в то время, когда большая часть молодежи утратила веру в Бога по той же причине, по которой старшие поколения ее придерживались – не зная почему. Но поскольку человеческий дух естественным образом склонен критиковать (потому, что чувствует, а не потому, что думает), то большая часть молодежи выбрала Человечество в качестве преемника Бога. Я, однако, принадлежу к тому типу людей, которые всегда находятся на краю того, чему они принадлежат, и видят не только толпу, частью которой они являются, но и просторы, что есть рядом. Поэтому я не отринул Бога так полно, как они, и так и не принял Человечество. Я счел, что Бог, будучи недоказуемым, все же мог бы существовать и ему, соответственно, нужно было бы поклоняться; однако Человечество, будучи просто биологической идеей и не означая ничего, кроме вида животных под названием человек, достойно поклонения не более, чем любой другой вид животных. Этот культ человечества с его ритуалами Свободы и Равенства мне всегда казался возрождением древних культов, в которых животные были богами или у богов были головы зверей.

Так, не умея верить в Бога и будучи неспособным верить в скопище зверей, я остался, как и другие отщепенцы, на таком расстоянии от всего, которое обычно называется Упадком. Упадок – это полная утрата бессознательности; ведь бессознательность – основа жизни. Сердце, будь оно способно думать, остановилось бы.

Что остается тем немногим, кто, подобно мне, живет, но не умеет жить, кроме отречения как образа действия и созерцания как судьбы? Мы не знали, что представляет собой религиозная жизнь, и не имели возможности это узнать, поскольку нельзя верить разумом; мы не имели возможности верить в абстрактное понятие человека и, сталкиваясь с ним, не знали даже, что с ним делать, и потому нам оставалось лишь эстетическое созерцание жизни в качестве оправдания наличия души. Так, чуждые торжественности всех миров, безразличные к божественному и презирающие человеческое, мы легкомысленно отдались бесцельному ощущению, лелеемому с утонченным эпикурейством, как подобает нашим мозговым нервам.

Из науки мы усвоили лишь ключевое положение о том, что все подчинено роковым законам, на которые невозможно реагировать независимо, поскольку реакция на них есть следствие их воздействия на нас, оказанного для того, чтобы мы отреагировали. Определив, как это положение сочетается с более древним положением о божественной неизбежности происходящего, мы отказались от усилий, как слабые отказываются от атлетической тренировки, и склонились над книгой ощущений с великим сомнением, продиктованным ощущаемой эрудицией. Не принимая ничего всерьез и даже не предполагая, что нам была дана реальность, отличающаяся от наших ощущений, мы в них укрываемся и исследуем их, словно большие неведомые страны. И если мы прилежно упражняемся не только в эстетическом созерцании, но и в выражении его приемов и результатов, то происходит это потому, что, когда мы пишем прозу или стихи, лишены стремления убедить чужое понимание или сподвигнуть чужую волю, мы подобны лишь тому, кто читает вслух с целью придать полную объективность субъективному удовольствию чтения.

Мы хорошо знаем, что любое произведение должно быть несовершенным и что наименее надежным из наших эстетических созерцаний будет созерцание того, о чем мы пишем. Но несовершенно все, нет такого прекрасного заката, который не мог бы быть еще прекраснее, или такого навевающего на нас дремоту легкого ветерка, который не мог бы погрузить нас в еще более безмятежный сон. Так мы, созерцатели в равной степени и гор, и статуй, наслаждающиеся

днями так же, как книгами, грезящие обо всем прежде всего для того, чтобы превратить это все в нашу сокровенную сущность, мы будем создавать описания и анализы, которые, будучи составленными, станут чуждыми нам вещами, которыми мы сможем наслаждаться так, будто бы они появились сами этим вечером.

Не так мыслят пессимисты вроде Виньи[2 - Альфред де Виньи (1797-1863) - граф, французский писатель, придерживавшийся консервативного романтизма. - Здесь и далее примечания переводчика.], для которого жизнь - это тюрьма, где он плел солому, чтобы отвлечься. Быть пессимистом значит воспринимать все как трагедию, такой подход - досадное преувеличение. Разумеется, у нас нет критерия оценки, который мы могли бы применять к тому, что создаем. Разумеется, мы создаем, чтобы отвлечься, однако не как заключенный, что плетет солому, чтобы отвлечься от Судьбы, а как девушка, которая расшивает подушки, чтобы просто отвлечься.

Я рассматриваю жизнь как постоянный двор, где я должен пребывать до тех пор, пока не прибудет дилижанс из бездны. Я не знаю, куда он меня отвезет, потому что я ничего не знаю. Я мог бы считать этот постоянный двор тюрьмой, потому что вынужден в нем ждать; я мог бы считать его местом для общения, потому что здесь я встречаюсь с другими. Тем не менее, я не нетерпелив и не зауряден. Я оставляю тех, кто, запершись в комнате и вяло улегшись на кровати, ждет, не смыкая глаз; я оставляю тех, кто разговаривает в залах, откуда до меня отчетливо доносятся музыка и голоса. Я сажусь у двери и погружаю свое зрение и слух в цвета и звуки пейзажа и медленно пою себе самому неясные песни, которые сочиняю, пока жду.

Для всех нас настанет ночь и прибудет дилижанс. Я наслаждаюсь дарованным мне ветерком и душой, данной мне, чтобы им наслаждаться, и ни о чем не вопрошаю и ничего не ищу. Если то, что я напишу в книге постояльцев, однажды будет прочитано другими и развлечет их в пути, будет хорошо. Если они этого не прочитают и не развлекутся, будет тоже хорошо.

2.

Я должен выбрать то, к чему питаю отвращение - либо мечту, которую ненавидит мой разум, либо действие, которое не приемлет моя

чувствительность; либо действие, для которого я не был рожден, либо мечту, для которой не был рожден никто.

В результате, питая отвращение к тому и другому, я не выбираю ничего; но, поскольку в некоторых случаях я должен либо мечтать, либо действовать, я смешиваю одно с другим.

3.

Я люблю покой Байши[3 - Исторический квартал Лиссабона, включающий в себя нижнюю часть центра города до реки Тежу.] неспешными летними вечерами и особенно покой там, где он контрастирует с дневным гомоном. Арсенальная улица, Таможенная улица, продолжение печальных улиц, что тянутся на восток оттуда, где заканчивается Таможенная, вся обособленная линия спокойных пристаней – все это утешает меня в грусти, если в такие вечера я углубляюсь в одиночество их ансамбля. Я оказываюсь в эпохе, предшествующей той, в которой я живу; я наслаждаюсь ощущением, будто я – современник Сезариу Верде[4 - Сезариу Верде (1855–1886) – португальский поэт, сыгравший важную роль в обновлении языка португальской поэзии. Пессоа считал его одним из своих учителей.], и во мне – не его стихи, а та сущность, которая в них есть. Там я до самой ночи волочу ощущение жизни, похожее на ощущение этих улиц. Днем они полны ничего не выражающего шума; ночью они полны отсутствия шума, которое не хочет ничего выражать. Днем я – ничто, а ночью я – это я. Нет разницы между мною и улицами, прилегающими к Таможенной, разве только они – улицы, а я – душа; это, возможно, ничего не значит в сравнении с тем, что является сущностью вещей. У людей и вещей абстрактная и потому одинаковая судьба – одинаково неопределенное положение в алгебраической системе координат тайны.

Но есть еще кое-что... В эти медленные пустые часы от души к разуму во мне поднимается грусть всего бытия, горечь оттого, что все одновременно является моим ощущением и чем-то внешним, что я не властен изменить. Ах как часто мои собственные грезы материализовались, но не для того, чтобы заменить собой мою реальность, а для того, чтобы показать мне, что они не мои и что это их объединяет; что я их не хочу, но они возникают – извне, как трамвай, разворачивающийся на последнем повороте улицы, или голос неизвестно что охраняющего ночного сторожа, голос, который выделяется арабским напевом, словно неожиданное клочкотание, на фоне однообразия опускающегося вечера!

Проходят будущие супруги, проходят парами портнихи, проходят юноши, жадные до удовольствий; курят, прогуливаясь по своему неизменному маршруту, те, кто отошел от всех дел; у той или другой двери стоят праздные лентяи, владельцы магазинов. Медленные, сильные и слабые, новобранцы блуждают, словно лунатики, группами то очень шумными, то более чем шумными. Время от времени показываются обычные люди. Автомобили в это время попадают не очень часто; из них доносятся звуки музыки. В моем сердце царит мир печали, а мой покой соткан из смирения.

Все это проходит, и ничто из этого ничего мне не говорит, все чуждо моей судьбе, чуждо даже собственной судьбе – бессознательность, неуместные возгласы, когда случай бросает камни, эхо неведомых голосов – коллективная мешанина жизни.

4.

И на вершине величия всех мечтаний – помощник бухгалтера в городе Лиссабоне.

Но такой контраст меня не раздавливает, а освобождает; и присутствующая в нем ирония – моя кровь. То, что должно было бы меня унижать, стало флагом, который я разворачиваю; а смех, который я должен был бы вызывать, стал звуком горна, которым я приветствую и создаю зарю, в которую превращаюсь.

Ночная слава того, кто чувствует себя великим, не будучи никем! Сумрачное величие неведомого великолепия... И вдруг я ощущаю благородство монаха, живущего в пустыни, уединенного отшельника, познавшего сущность Христа в удаленных от мира камнях и пещерах.

И, сидя за столом в моей нелепой комнате, я, никчемный безымянный служащий, пишу слова вроде «спасение души», и меня озаряет золотой свет небывалого заката в высоких, просторных и далеких горах, свет моей статуи, полученной за удовольствия, и кольца отречения на моем евангельском пальце, застывшей жемчужины моего экстатического презрения.

5.

Передо мной – две большие страницы тяжелой книги; я поднимаю от старого письменного стола уставшие глаза – душа устала еще сильнее глаз. Позади заключенного в этом ничтожества – склад, тянущийся до улицы Золотильщиков, ряд одинаковых полок, одинаковые служащие, человеческий порядок и покой заурядности. Из окна доносится шум разнообразия и разнообразный шум – зауряден, как покой, царящий близ полок.

Я опускаю взгляд и смотрю новыми глазами на две белые страницы, на которых мои осторожные цифры обозначили результаты компании. И с улыбкой, которую я таю для себя, я вспоминаю, что жизнь, у которой есть эти страницы с названиями тканей и суммами денег, с пробелами, линиями и строками, включает в себя еще и великих мореплавателей, великих святых, поэтов всех эпох – и не записан никто из них; многочисленные потомки избавляются от тех, кто на самом деле представляет ценность для этого мира.

В самой записи о какой-то ткани, о которой я понятия не имею, передо мной открываются врата Индии и Самарканда, а поэзия Персии, которая не принадлежит ни тому, ни другому месту, создает из своих четверостиший, не зарифмованных в третьем стихе, прочную опору для моего непокоя. Но я не обманываюсь, пишу, складываю, и записи, вносимые служащим этой конторы, текут своим чередом.

6.

Я так мало просил у жизни, но даже в этом малом жизнь мне отказала. Пучок солнечных лучей, поле, кусок покоя с куском хлеба, и чтобы меня не тяготило знание о моем существовании, и чтобы я не требовал ничего от других, и они ничего не требовали от меня. Даже в этом мне было отказано, подобно тому, как кто-то отказывается дать милостыню не потому, что у него черствая душа, а потому, что ему лень расстегивать пиджак.

Я пишу с грустью в моей спокойной комнате, в одиночестве, в котором я всегда пребываю, в одиночестве, в котором я останусь навсегда. И я думаю, не воплощает ли мой голос, кажущийся таким ничтожным, сущность тысяч голосов, жадное желание тысяч жизней высказаться, терпение миллионов душ, подобных

моей, подчиненных обыденной судьбе, бесполезной мечте, надежде, не оставляющей следов. В такие мгновения мое сердце бьется сильнее, потому что я его осознаю. Я живу насыщеннее, потому что живу полнее. Я чувствую в себе религиозную силу, своего рода молитву, подобие крика. Но реакция против моей воли нисходит из моего разума... Я вижу себя на высоком пятом этаже на улице Золотильщиков, меня охватывает сон; я вижу на исписанной мною бумаге напрасную жизнь, лишенную красоты, и дешевую сигарету, которую я держу над старой промокашкой. И вот, на этом пятом этаже, я вопрошаю жизнь! Говорю о том, что чувствуют души! Сочиняю прозу, как гении и знаменитости! Здесь, я, вот так!..

7.

Сегодня, в очередной раз предаваясь фантазиям, лишенным цели и достоинства, фантазиям, составляющим значительную часть духовной сущности моей жизни, я вообразил, будто навсегда освободился от улицы Золотильщиков, от шефа Вашкеша, от бухгалтера Морейры, от всех служащих, от посыльного, от мальчика и от кота. Я почувствовал свое освобождение во сне, словно южные моря предложили мне открыть чудесные острова. Тогда наступило бы отдохновение, постижение искусства, умственное воплощение моего существа.

Но вдруг, в моем воображении, во власти которого я пребывал в кафе во время скромного полуденного отдыха, моя греза оказалась во власти неприятного ощущения: я почувствовал, что мне было бы жаль. Да, я говорю это совершенно осознанно: мне было бы жаль. Шефа Вашкеша, бухгалтера Морейру, кассира Боржеша, всех этих славных ребят, веселого посыльного, который относит письма на почту, мальчика на побегушках, ласкового кота – все это стало частью моей жизни; я не смог бы оставить все это без слез, без понимания, что, каким бы дурным мне все это ни казалось, с ними осталась бы часть меня, что расставание с ними было бы подобием смерти, означало бы наполовину умереть.

К тому же, если бы завтра я удалился от всех них и снял с себя этот костюм улицы Золотильщиков, к чему другому я пришел бы – почему это другое должно было бы появиться? в какой другой костюм я облачился бы? – почему я должен был бы облачаться во что-то другое?

У всех нас есть шеф Вашкеш, для одних – видимый, для других – невидимый. Для меня его действительно зовут Вашкеш, это цветущий, приятный мужчина, порой резкий, но лишенный двуличия, эгоистичный, но в глубине души справедливый, обладающий той справедливостью, которой недостает многим великим гениям и многим сотворенным человеком чудесам цивилизации, правой и левой. Другие увидят в нем тщеславие, стремление к еще большему богатству, к славе, к бессмертию... Но я предпочитаю, чтобы моим шефом был такой человек, как Вашкеш, с которым можно договориться в трудную минуту, а не любой абстрактный шеф мира.

На днях один друг, компаньон одной процветающей фирмы, которая ведет дела с государством, считающий, что я мало зарабатываю, сказал мне: «Соареш, тебя эксплуатируют». Мне это напомнило о том, что так и есть; но раз уж в жизни все мы должны подвергаться эксплуатации, я спрашиваю, не лучше ли, чтобы тебя эксплуатировал торговец тканями Вашкеш, а не тщеславие, слава, досада, зависть или недостижимое.

Есть те, кого эксплуатирует сам Бог, они – пророки и святые в пустынности мира.

И я возвращаюсь, словно к очагу, который есть у других, в чужой дом, в просторную контору на улице Золотильщиков. Я располагаюсь за своим письменным столом, словно за бастионом, укрывающим от жизни. Я испытываю нежность, нежность до слез, к моим книгам, в которые я вношу чуждые мне записи, к старой чернильнице, которой пользуюсь, к согбенной спине Сержиу, который заполняет накладные чуть поодаль от меня. Я испытываю к этому любовь, возможно, потому, что больше мне любить нечего – или, возможно, еще и потому, что ничто не достойно любви души, и если мы должны дарить любовь, нет разницы, дарить ли ее мелкой детали моей чернильницы или бесконечному безразличию звезд.

8.

Шеф Вашкеш. Часто я необъяснимым образом подпадаю под гипноз шефа Вашкеша. Кто для меня этот человек, помимо случайного препятствия, хозяина моих часов в дневное время моей жизни? Он хорошо со мной обращается, любезно разговаривает, за исключением тех резких мгновений, когда он, охваченный неведомым беспокойством, бывает груб со всеми. Да, но почему

меня это беспокоит? Он символ? Причина? Кто он?

Шеф Вашкеш. Я уже вспоминаю о нем в будущем с ностальгией, которую я знаю, что буду испытывать. Я буду спокойно жить в небольшом домике где-нибудь в пригороде, наслаждаясь покоем, и не буду делать то, чего не делаю сейчас, и буду искать новые оправдания, чтобы продолжать этого не делать, и они будут отличаться от тех, за которыми я прячусь от себя сегодня. Или меня поместят в приют для нищих, и я буду рад своему полному краху, оказавшись среди сброда тех, кто считал себя гением, но был всего лишь нищим мечтателем, среди безликой толпы тех, у кого не было ни власти, чтобы победить, ни большого самоотречения, чтобы победить, двигаясь от противного. Где бы я ни оказался, я буду с ностальгией вспоминать шефа Вашкеша, контору на улице Золотильщиков, и монотонность повседневной жизни для меня будет походить на воспоминание о любовных историях, которые со мной не случились, или о триумфах, которые не должны были быть моими.

Шеф Вашкеш. Я вижу его оттуда сегодня, как вижу его сегодня отсюда – среднего роста, коренастый, грубоватый, со своей ограниченностью и пристрастиями, честный и хитрый, резкий и обходительный – начальник не только потому, что у него есть деньги, но и по медлительным волосатым рукам с проступающими венами, похожими на маленькие окрашенные мускулы, по его полной, но не толстой шее, по румяным и, в то же время, гладким щекам под темной бородой, которую он всегда вовремя подстригает. Я вижу его, вижу его жесты, полные энергичной медлительности, его глаза, обдумывающие внутри то, что происходит снаружи, меня охватывает смятение, когда он бывает мной недоволен, и душа моя радуется его улыбке, улыбке широкой и человеческой, как рукоплескание толпы.

Возможно, все потому, что в моем окружении нет более выдающегося человека, чем шеф Вашкеш, и часто этот обыкновенный и даже заурядный человек застревает у меня в голове и отвлекает меня от меня самого. Я верю, что в нем есть символ. Я верю или почти верю, что где-то, в давно прошедшей жизни этот человек имел в моей жизни большее значение, по сравнению с тем, что имеет теперь.

А, я понял! Шеф Вашкеш – это Жизнь. Жизнь монотонная и необходимая, повелевающая и неизвестная. Этот банальный человек представляет собой банальность Жизни. Для меня он – все, что есть снаружи, потому что жизнь для меня – это все, что есть снаружи. И если контора на улице Золотильщиков представляет для меня жизнь, то этот мой третий этаж, где я живу, на той же улице Золотильщиков, представляет для меня Искусство. Да, эта улица Золотильщиков, по моему разумению, вбирает в себя весь смысл вещей, решение всех загадок, за исключением той, почему загадки существуют – у этой загадки решения быть не может.

10.

Вот такой я, ничтожный и чувствительный, способный на резкие, поглощающие порывы, дурные и хорошие, благородные и подлые, но никогда на длительное чувство, на продолжительные переживания, которые проникают в самую сущность души. Есть во мне склонность немедленно становиться чем-то другим; нетерпеливость души по отношению к самой себе, как по отношению к несвоевременно появившемуся ребенку; непокой, постоянно растущий и всегда одинаковый. Меня все интересует и ничто не увлекает. Любым делом я занимаюсь, погруженный в грезы; я отмечаю малейшие движения лицевых мускулов человека, с которым говорю, собираю мельчайшие интонации его речи; но, слыша его, я его не слушаю, я думаю о чем-то другом и из разговора менее всего ухватываю предмет, о котором говорил я или мой собеседник. Так, я зачастую повторяю кому-то то, что уже ему повторял, снова задаю вопрос, на который он мне уже ответил; но я могу описать четыремя фотографически точными словами, каким было положение его мускулов, когда он мне говорил то, чего я не помню, или насколько его глаза были предрасположены слушать мой рассказ, хотя я и не помнил, о чем он был. Во мне – два человека, и оба держатся на расстоянии друг от друга, словно несросшиеся сиамские близнецы.

11.

Литания

Мы никогда не осознаем себя.

Мы две бездны – колодец, глядящий на Небо.

12.

Я завидую – хотя и не знаю, завидую ли – тем, о ком можно написать биографию или кто может написать собственную. В этих впечатлениях без связи, без желаний их связать я бесстрастно рассказываю свою автобиографию без фактов, мою историю без жизни. Это моя «Исповедь», и если в ней я ничего не говорю, то это потому, что сказать мне нечего.

Что можно рассказать на исповеди ценного или полезного? То, что с нами произошло или произошло со всеми людьми или только с нами; в первом случае это не новость, во втором – недоступно пониманию. Если я пишу, что чувствую, так это потому, что так я ослабляю лихорадку чувствования. То, в чем я исповедуюсь, не имеет значения, потому что ничто не имеет значения. Я создаю пейзажи из того, что чувствую. Я устраиваю праздники из ощущений. Я хорошо понимаю тех, кто вышивает из горечи, и тех, кто вяжет, потому что в этом есть жизнь. Моя пожилая тетушка бесконечными вечерами раскладывала пасьянсы. Эта исповедь в том, что я чувствую, есть мой пасьянс. Я не истолковываю их так, как тот, кто обращается к картам, желая узнать судьбу. Я их не прослушиваю, потому что в пасьянсах у самих карт нет ценности. Я разматываю себя, словно разноцветный клубок, или делаю из себя веревочные фигурки, как те, что плетут на расставленных пальцах и что переходят от одних детей к другим. Я слежу только за тем, чтобы большой палец не испортил петлю, которая ему выпадает. Потом переворачиваю руку, и образ оказывается иным. И начинаю заново.

Жить значит вязать и думать о других. Но во время вязания мысль свободна и все зачарованные принцы могут гулять по своим паркам между стежками спицы из слоновой кости с перевернутым крючком. Кружево из явлений... Интервал... Ничего...

Впрочем, на что я могу рассчитывать, имея дело с собой? Ужасная обостренность ощущений и глубокое понимание того, что я чувствую... Острый ум, который меня разрушает, и сила грез, стремящихся меня развлечь... Мертвая воля и размышление, убаюкивающее ее, словно живое дитя... Да, кружево...

13.

Убожеству моего положения не препятствуют спрягаемые слова, при помощи которых я постепенно составляю свою книгу, случайную и продуманную. Я ничтожно живу в основании каждого выражения, словно нерастворимый осадок на дне стакана, из которого пили только воду. Я пишу свою литературу так, как веду свои рабочие записи – старательно и равнодушно. Перед обширным звездным небом и загадкой множества душ, перед ночью неизвестной бездны и плачем от полного непонимания – перед этим всем то, что я записываю во вспомогательной бухгалтерской книге, и то, что я пишу на бумаге души, одинаково ограничивается улицей Золотильщиков и очень мало касается миллионных пространств вселенной.

Все это мечта и фантазмагория, и мало имеет значения, является ли мечта бухгалтерскими записями или приличной прозой. Разве лучше мечтать о принцессах, а не о входной двери конторы? Все, что мы знаем, есть наше впечатление, а все, чем мы являемся, есть чужое впечатление, мелодрама с нашим участием, в которой мы ощущаем себя, становясь своими собственными зрителями, своими богами по разрешению Муниципалитета.

14.

Знать, что будет дурным то дело, которое никогда не будет сделано. Однако еще хуже будет то, что никогда не будет делаться. То, что делается, хотя бы остается сделанным. Пусть оно будет неважным, но оно существует, как чахлое растение в единственной кадке моей парализованной соседки. Ей это растение в радость, а иногда и мне. То, что я пишу и признаю дурным, тоже может подарить мгновения отвлечения от дурного той или другой удрученной или грустной душе. Мне этого достаточно или недостаточно, но в каком-то отношении это полезно, и такова вся жизнь.

Тоска, которая включает в себя лишь предвкушение еще большей тоски; горечь оттого, что завтра будешь испытывать горечь оттого, что испытывал горечь сегодня – огромная путаница без пользы и истины, огромная путаница...

...Там, где, съездившись на скамье ожидания на полустанке, спит мое презрение, укутавшись в пальто моего уныния...

...Мир виденных в грезах образов, из которых в равной степени состоят мои познания и моя жизнь...

Сомнения, охватывающие меня в этот час, меня нисколько не тяготят и длятся недолго. Я жажду расширения времени и хочу существовать без условий.

15.

Я покорил, шаг за шагом, внутреннее пространство, которое с рождения стало моим.

Я вытребовал, клочок за клочком, болото, в котором остался в своем ничтожестве.

Я породил мое бесконечное бытие, но вытащил себя клещами из себя самого.

16.

Я предаюсь фантазиям по дороге между Кашкайшем и Лиссабоном. Я отправился в Кашкайш, чтобы оплатить взнос шефа Вашкеша за дом, который у него есть в Эшториле. Я заранее предвкушал удовольствие от поездки, час туда, час обратно, от того, как буду смотреть на всегда меняющийся облик большой реки и на место ее впадения в Атлантику. На самом же деле, по дороге туда я забылся в абстрактных размышлениях, глядя на водные пейзажи, которые я с радостью собирался смотреть, но не видя их, а по дороге обратно забылся, осмысляя эти ощущения. Я не смог бы описать даже самую мелкую деталь путешествия, самый мелкий фрагмент того, что можно было увидеть. Я сохранил эти страницы по забвению и из противоречия. Не знаю, лучше это или хуже противоположного, и не знаю, что есть это противоположное.

Поезд замедляет ход, это Каиш-ду-Содре. Я прибыл в Лиссабон, но не пришел к какому-либо выводу.

17.

Иногда я часами предпринимаю одно-единственное усилие – пытаюсь смотреть на свою жизнь. Я вижу себя посреди безбрежной пустыни. Говорю, что вчера я существовал буквально, пытаюсь объяснить самому себе, как оказался здесь.

18.

Я спокойно, без чего-либо в душе, что являло бы собой улыбку, принимаю все большее замыкание моей жизни на этой улице Золотильщиков, в этой конторе, в окружении этих людей. Иметь то, что обеспечивает мне еду, питье и кров, и немного свободного пространства во времени, чтобы мечтать, писать – спать – чего еще я могу просить у Богов или ждать от Судьбы?

У меня были большие амбиции и обширные мечты – но были они и у посыльного, и у портнихи, ведь мечты есть у каждого: отличает нас друг от друга сила их осуществить или судьба, которая осуществляет их при помощи нас.

В грезах я равен посыльному и портнихе. Отличает меня от них только умение писать. Да, это действие, это моя реальность, которая отличает меня от них. В душе я им равен.

Я хорошо знаю, что есть острова на Юге и великие космополитические страсти и что, если бы весь мир был у меня в руке, я бы точно поменял его на билет до улицы Золотильщиков.

Возможно, моя судьба – вечно быть бухгалтером, а поэзия или литература – бабочка, которая, сев мне на голову, делает меня тем более смешным, чем красивее она сама.

Я буду скучать по Морейре, но что значит скучать по кому-то в сравнении с великими восхождениями?

Я хорошо знаю, что день, когда я стану бухгалтером торгового дома «Вашкеш и Ко», будет одним из великих дней моей жизни. Я знаю это с горьким и ироничным предвкушением, но и с благоразумным преимуществом уверенности.

19.

На берегу моря, в излучине пляжа между тропическими лесами и прибрежными долинами, из неясности бездны небытия всплывала непостоянность пылкого желания. Не нужно было выбирать между полем и лугом, и пространство уходило в кипарисовую рощу.

Сила слов, обособленных или объединенных в зависимости от созвучия, с сокровенными отголосками и со смыслами, которые расходятся ровно тогда, когда сходятся, пышность фраз, вплетенных между смыслами других фраз, порочность следов, надежда лесов и ничего, кроме спокойствия прудов в садах детства моих уловов... Так, среди высоких стен нелепой отваги, в рядах деревьев и среди страхов того, что увядает, кто-то другой, не я, услышал бы из грустных губ исповедь, которую не смогла вырвать и большая настойчивость. Никогда, среди звона копий в невидимом дворе, даже если бы возвращались рыцари по дороге, видной со стены, не было бы больше покоя во Дворце Последних и на той стороне дороги не вспоминалось бы иного имени, кроме того, что, вместе с именем колдуний, околдовывало по ночам дитя жизни и чудес, что умерло позднее.

Легкое, среди тропинок, оставшихся на траве от шагов, прокладывавших пустоши в бурной зелени, движение последних заблудившихся звучало словно шарканье, словно смутное воспоминание о грядущем. Те, кто должен был прийти, были стары, а молодые не придут никогда. Барабаны прогремели на обочине дороги, и никчемные горны висели на усталых руках, которые бы их оставили, если бы у них еще были силы что-либо оставить.

Но вновь, словно вследствие иллюзии, громко звучали минувшие вопли и собаки петляли среди видимых аллей. Все было нелепо, как траур, и принцессы из чужих грез неопределенно гуляли за пределами монастырей.

20.

Много раз в течение моей жизни, угнетенной обстоятельствами, со мной случалось, что, когда я хотел освободиться от любого их сочетания, меня сразу же окружали другие обстоятельства того же порядка, как если бы в неясной

ткани вещей существовала отчетливая враждебность по отношению ко мне.

Я отрываю от горла сжимающую его руку. Вижу, что с руки, которой я ее оторвал, у меня сняли шнурок и он упал в ворот с жестом освобождения. Я осторожно откладываю в сторону шнурок и почти удушаю себя собственными руками.

21.

Существуют ли боги, или нет, мы – их рабы.

22.

Мой образ, такой, каким я видел его в зеркалах, всегда привязан к моей душе. Я не мог не быть таким сутулым и слабым, какой я есть, даже в моих мыслях.

Все во мне словно взято у разноцветного принца, вклеенного в старый альбом давным-давно умершего ребенка.

Любить меня значит меня жалеть. Однажды, ближе к исходу будущего, кто-нибудь напишет обо мне поэму, и, возможно, только тогда я начну царствовать в моем Царстве.

Бог – это наше существование и наше неполное бытие.

23.

Абсурд

Мы превращаемся в сфинксов, пусть и поддельных, и доходим до такого состояния, что уже не знаем, кто мы. Потому что, на самом деле, мы и есть поддельные сфинксы и не знаем, чем мы на самом деле являемся. Для нас

единственный способ быть в согласии с жизнью – не быть в согласии с самими собой. Нелепое – божественно.

Разрабатывать теории, обдумывая их терпеливо и честно, только для того, чтобы потом действовать им вопреки – действовать и оправдывать наши действия при помощи теорий, которые их осуждают. Проложить путь в жизни, а затем делать все, чтобы по этому пути не следовать. Пользоваться всеми жестами и всеми приемами чего-то, чем мы не являемся, не стремимся быть и не стремимся выглядеть так, будто мы этим являемся.

Покупать книги и потом их не читать; ходить на концерты не для того, чтобы слушать музыку или смотреть, кто там есть; совершать долгие прогулки из-за того, что надоело ходить, и проводить дни за городом только потому, что сельская местность нам противна.

24.

Сегодня, поскольку движения моего тела сковала та старая тоска, что иногда переливает через край, я плохо поел и выпил не столько, сколько пью обычно, в ресторане или харчевне, в антресоли, которая является продолжением моего существования. И, когда я выходил, слуга, удостоверившись в том, что бутылка вина осталась наполовину недопитой, повернулся ко мне и сказал: «До свидания, г-н Соареш, желаю вам поправиться».

И при тревожном звуке этой простой фразы моей душе стало легче, как если бы на пасмурном небе ветер вдруг развеял тучи. И тогда я признал то, что никогда отчетливо не признавал, а именно: что эти официанты из кафе и ресторана, парикмахеры, посыльные на углу испытывают ко мне неподдельную, естественную симпатию и что я не могу похвастать тем, что получаю ее от людей, что общаются со мной более тесно, как бы неуклюже это ни звучало...

У чувства братства есть свои тонкости.

Одни правят миром, другие миром являются. Между американским миллионером, владеющим собственностью в Англии или в Швейцарии, и деревенским вожаком социалистов разница не в качестве, а всего лишь в количестве. Под ними находимся бесформенные мы, безрассудный драматург

Уильям Шекспир, школьный учитель Джон Мильтон, лентяй Данте Алигьери, посыльный, который вчера доставил мне извещение, или парикмахер, который рассказывает мне анекдоты, официант, который только что проявил ко мне братское участие, пожелав поправиться из-за того, что я выпил всего полбутылки вина.

25.

Это, без сомнения, олеография. Я смотрю на нее, не зная, вижу ли я ее. На витрине, помимо нее, есть и другие олеографии. Она же находится в центре витрины в пролете лестницы.

Она прижимает к груди весну и смотрит на меня грустными глазами. Улыбается блеском бумаги, а лицо у нее алого цвета. Небо за ней цвета светло-синей ткани. У нее четко очерченный, почти маленький рот, а над ним, нарисованным, как на открытке, – глаза, глядящие на меня с большой горечью. Рука, держащая цветы, о ком-то мне напоминает. На платье или блузке открытое декольте с каймой. Глаза по-настоящему грустны: они смотрят на меня из глубины литографической реальности с какой-то искренностью. Она пришла с весной. Ее грустные глаза велики, но даже не из-за этого. Я отхожу от витрины, чувствуя большую тяжесть в ногах. Перехожу улицу и оборачиваюсь, бессильно бунтуя. Она по-прежнему держит весну, которую ей дали, а ее глаза грустны, как то, чего нет у меня в жизни. На расстоянии олеография, наконец, кажется более расцвеченной. У фигурки есть лента более розового цвета, обхватывающая ей волосы наверху; я ее не заметил. У нее человеческие глаза, хотя и литографические, и это ужасно: неизбежное предупреждение сознания, подавленный крик, выдающий наличие души. С большим усилием я прихожу в себя от мечты, в которой я мокну, и отряхиваю, как пес, влажность туманного мрака. И над моим пробуждением, словно прощаясь с любой другой вещью, грустные глаза всей жизни, этой метафизической олеографии, которую мы созерцаем на расстоянии, смотрят на меня так, будто я что-то знаю о Боге. Внизу гравюры – календарь. Снизу и сверху он обрамлен двумя слегка изгибающимися и плохо прорисованными черными полосами. Между верхом и низом рамки, над цифрой 1929 с каллиграфической виньеткой, выглядящей устарело и закрывающей неизбежное первое января, мне иронично улыбаются грустные глаза.

Любопытно, откуда мне, в конечном счете, было знакомо это изображение. В конторе, в дальнем углу есть такой же календарь, который я много раз видел.

Но, вследствие какой-то тайны, то ли олеографической, то ли моей, у изображения в конторе глаза не исполнены горечи. Это просто олеография. (Ее бесцветное существование, сделанное из блестящей бумаги, спит над головой левши Алвеша.)

Мне хочется улыбнуться всему этому, но я чувствую сильное недоумение. Чувствую холод внезапного недуга в душе. У меня нет сил восстать против этого абсурда. К какому окну и ради какой тайны Бога я приблизился бы, сам того не желая? Куда выходит витрина в лестничном пролете? Какие глаза смотрели на меня с олеографии. Я почти дрожу. Невольно поднимаю глаза и смотрю в дальний угол конторы, где находится настоящая олеография. Я постоянно поднимаю туда глаза.

26.

Наделять каждое переживание индивидуальностью, каждое состояние души – душой.

Девушки свернули на повороте пути, их было много. Они шли по улице и пели, и звук их голосов был счастливым. Не знаю, кем они были. Какое-то время я слушал их издали, без какого-либо чувства. В сердце я почувствовал за них горечь.

За их будущее? За их несознательность? Не непосредственно за них – или, кто знает? Возможно, просто за себя.

27.

Литература, которая представляет собой искусство, обвенчанное с мыслью, и безупречное воплощение реальности, на мой взгляд, есть цель, к которой должно было бы стремиться всякое человеческое усилие, если бы оно действительно было человеческим, а не бесполезным проявлением животного нутра. Я верю, что произнести что-то значит сохранить его добродетель и устранить его ужасную сторону. Поля зеленее, когда о них говорят, чем на самом деле. У цветов, если их описывают при помощи фраз, которые их

определяют в категориях воображения, будут такие устойчивые оттенки, которых не найти в клеточной жизни.

Двигаться значит жить, высказываться – выживать. Нет ничего реального в жизни, кроме того, что было хорошо описано. Критики мелкого масштаба имеют обыкновение отмечать, что та или иная поэма с замысловатыми рифмами, в конечном счете, просто говорит о том, что день прекрасен. Но сказать, что день прекрасен, трудно, а прекрасный день тоже проходит. Поэтому мы должны сохранить прекрасный день в избранной и придирчивой памяти и тем самым усеять новыми цветами или новыми звездами внешне пустынные и преходящие поля или небеса.

Все есть то, чем являемся мы, и все им будет для тех, кто последует за нами в разнообразии времени, в соответствии с тем, как ярко мы себе это представляли, то есть с тем, какими мы, обладающие заключенным в теле воображением, были на самом деле. Я не думаю, что история с ее большой выцветшей панорамой представляет собой нечто большее, чем поток толкований, нечеткое согласие разрозненных свидетельств. Мы все – романисты, мы рассказываем, когда видим, потому что видение столь же сложно, как и все остальное.

В это мгновение у меня столько важных мыслей, столько действительно метафизических вещей, которые я должен высказать, что я внезапно устаю и решаю больше не писать, больше не думать, а позволить лихорадке высказывания навеять на меня сон, чтобы я, закрыв глаза, как кот, позабавился всем тем, что я мог бы высказать.

28.

Дуновение музыки или мечты, что-то, что позволяет почти что чувствовать, что-то, что позволяет не думать.

29.

После того как последние капли дождя стали задерживаться на скатах крыш и на замощенной посередине улице постепенно начала отражаться лазурь неба, шум машин зазвучал иначе, громче и веселее, и послышалось, как навстречу вновь появившемуся солнцу открываются окна. Тогда по узкой улице от ближайшего угла пронесся громкий призывный крик первого продавца лотерейных билетов и гвозди, вколоченные в ящики в магазине на углу, заблестали в просвете.

Был непонятный праздничный день, официальный, но не соблюдаемый. Покой и труд сливались воедино, мне было нечего делать. Я встал рано и медлил, готовясь существовать. Ходил по комнате из угла в угол и мечтал вслух о вещах, не связанных друг с другом и невозможных – о жестах, которые забыл сделать, о недостижимых амбициях, осуществленных без направления, о разговорах, которые были бы обстоятельными и постоянными, если бы состоялись. И в этих фантазиях, лишенных величия и спокойствия, в этой медлительности без надежды и без цели, шагая назад и вперед, я растрчивал свободное утро, а мои громкие слова, произнесенные тихо, многократно отражались в монастыре моего простого уединения.

Мой человеческий облик, когда я смотрел на него извне, был так же смешон, как смешно все человеческое, если оно сокровенно. Поверх простого облачения покинутой мечты я надел старое пальто, которое использую для таких утренних бдений. Мои старые тапочки были протерты, особенно левый. И, сунув руки в карманы посмертного пиджака, я прогуливался по моей комнате, точно по бульвару, широкими решительными шагами, воплощая при помощи бесполезных фантазий мечту, подобную тем, что есть у каждого.

Через открытую прохладу моего единственного окна все еще было слышно, как с крыш капали большие капли, скопившиеся, пока шел дождь. Все еще смутно чувствовалась свежесть выпавшего дождя. Небо, однако, было завораживающе голубым, и тучи, остававшиеся от побежденного или изнемогшего дождя, уступали, проплывая над Замком, всему небу его законное место.

Это был повод для веселья. Но что-то меня угнетало, неведомая тоска, неопределенное и даже незаурядное желание. Возможно, ко мне не спешило ощущение того, что я жив. И, когда я выглянул из очень высокого окна и склонился над улицей, на которую посмотрел, не видя ее, я вдруг почувствовал себя одной из тех влажных тряпок для мытья грязных вещей, оставленных сушиться и забытых скрученными на подоконнике и медленно покрывающих его

пятнами.

30.

Я признаю, не знаю, с грустью ли, человеческую черствость моего сердца. Прилагательное для меня ценнее, чем настоящий плач души. Мой учитель Виейра[5 - Антонио Виейра (1608–1697) – португальский иезуит, занимавшийся миссионерской деятельностью в Бразилии и проявивший себя на дипломатическом поприще в Европе. Автор проповедей, которые считаются одними из лучших образцов португальской прозы эпохи барокко.] <...>

Но иногда я бываю другим, и у меня выступают слезы, слезы такие горячие, как у тех, у кого нет и не было матери; и мои глаза, пылающие этими мертвыми слезами, пылают внутри моего сердца.

Я не помню моей матери. Она умерла, когда мне был год. Все, что есть разрозненного и жесткого в моей чувствительности, проистекает из отсутствия этого тепла и из бесплодной тоски по поцелуям, которых я не помню. Я ненастоящий. Я всегда просыпался у чужой груди, убаюканный по ошибке.

Ах, меня отвлекает и терзает тоска по другому существу, которым я мог бы стать! Каким другим я был бы, если бы меня одарили той лаской, что идет от чрева и покрывает поцелуями маленькое личико?

Возможно, тоска оттого, что я не сын, сильно влияет на мое равнодушие в области чувств. Тот, кто прижимал меня, ребенка, к лицу, не мог прижать меня к сердцу. Она была далеко, в могиле – та, что принадлежала бы мне, если бы Судьба пожелала, чтобы она мне принадлежала.

Позднее мне сказали, что моя мать была красива, и говорят, что, когда мне это сказали, я ничего не ответил. Я уже сформировался телом и душой, был несведущ в эмоциях, и то, что мне говорили, еще не было новостью других страниц, которые трудно представить.

Мой отец, живший далеко, совершил самоубийство, когда мне было три года, и я его никогда не знал. Я даже не знаю, почему он жил далеко. Меня это никогда

не интересовало. Я помню, что его смерть воспринималась с большой серьезностью во время первых трапез после того, как о ней стало известно. Помню, что на меня время от времени посматривали. И я глупо смотрел в ответ. Потом я ел старательнее, потому что, быть может, пока я не видел, на меня продолжали смотреть.

Я – все это, хотя и не хочу этим быть, в смятенной глубине моей роковой чувствительности.

31.

Часы, что находятся там сзади, в опустевшем доме, потому что все спят, медленно роняют четкий четырехкратный звон четырех часов ночи. Я не сомкнул глаз и не надеюсь уснуть. Ничто не отвлекает мое внимание, не давая мне спать, я не чувствую никакой тяжести в теле, которая не давала бы мне успокоиться; и я лежу в тени, которую рассеянный свет уличных фонарей размывает еще сильнее, в бессильной тишине моего чужого тела.

Мне так хочется спать, что у меня не получается думать; и не получается чувствовать оттого, что не могу уснуть.

Все вокруг меня – обнаженная, абстрактная вселенная, сотканная из ночных отрицаний. Я разрываюсь между усталостью и беспокойством и умудряюсь касаться телесным ощущением метафизического познания тайны вещей.

Порой душа моя смягчается, и тогда бесформенные детали повседневной жизни всплывают на поверхность сознания и я веду записи на поверхности моей бессонницы. В другие разы я прихожу в себя от полусна, в котором застыл, и смутные образы, обладающие невольным поэтическим колоритом, пропускают через мою невнимательность свой бесшумный спектакль. Мои глаза закрыты не полностью. Взгляд моих полуприкрытых глаз окаймлен светом, идущим издалека; это уличные фонари там, внизу, на заброшенных окраинах улицы.

Перестать, уснуть, заменить это сознание, в котором чередуются лучшие меланхолические вещи, сказанные тайком тому, кто меня не знает!.. Перестать, легко проскользнуть по пляжу, как прилив и отлив просторного моря на берегах, которые было бы видно той ночью, когда я действительно бы спал!.. Перестать,

стать неизвестным и внешним, стать движением ветвей на отдаленных аллеях, мягким опаданием листьев, которое легче узнать по звуку, чем по падению, открытым морем с фонтанами вдали и всей неопределенностью ночных парков, затерянных среди постоянной путаницы, природных темных лабиринтов!.. Перестать, закончить наконец, но метафизически выжить, стать страницей в книге, пучком распущенных волос, колебанием вьюнка под полуоткрытым окном, ничего не значащими шагами по мелкому щебню на повороте улицы, последним уходящим ввысь дымом засыпающей деревни, кнутом кучера, забытым на утренней обочине дороги... Нелепостью, смятением, затуханием – всем тем, в чем нет жизни...

И я по-своему сплю, без сна и отдыха, веду растительную жизнь, заполненную предположениями, и под моими веками, не знающими покоя, витает, словно спокойная пена грязного моря, далекий отблеск немых уличных фонарей.

Сплю и бодрствую.

По другую сторону от меня, позади моей кровати, тишина дома соприкасается с бесконечностью. Я слышу, как падает время, капля за каплей, но не слышу, как падают капли. Мое физическое сердце физически подавляет сведенную к небытию память обо всем том, что было или чем был я. Я чувствую на подушке конкретное местоположение головы, которая продавливает на ней выемку. Ткань наволочки соприкасается с моей кожей так, как люди соприкасаются друг с другом в сумерках. Ухо, на котором я лежу, математически отпечатывается в мозгу. Я моргаю от усталости, и мои ресницы производят очень тихий, неслышный звук на чувствительной белизне высокой подушки. Дышу, вздыхая, и мое дыхание совершается – оно не мое. Я страдаю, не чувствуя и не думая. Домашние часы, занимающие конкретное место там, в глубине вещей, сухо отбивают ничего не значащие полчаса. Столько всего, все так глубоко, все так черно и так холодно!

Я прохожу сквозь времена, прохожу сквозь молчание, бесформенные миры проходят сквозь меня.

Вдруг, словно дитя Тайны, запел петух, не зная, что еще ночь. Я могу уснуть, потому что во мне уже утро. И я чувствую, как улыбается мой рот, слегка надавливая на мягкие складки наволочки, прикасающейся к моему лицу. Я могу отдаться жизни, могу уснуть, могу не замечать себя... И, сквозь новый сон, который затмевает мой разум, то ли я вспоминаю о пропевшем петухе, то ли он

на самом деле поет во второй раз.

32.

Симфония беспокойной ночи

Все спало, как если бы вселенная была ошибкой; и ветер, неуверенно колеблясь, был бесформенным флагом, развернутым над несуществующей казармой.

Ничто не разрывалось в холодном и колком воздухе, и оконные рамы сотрясали стекла так, что чувствовался их предел. В глубине всего тихая ночь была усыпальницей Бога (душа страдала от печали Бога).

И вдруг – новый вселенский порядок воцарялся в городе, – ветер свистел в промежутках между своими порывами, и чувствовалось множество движений в вышине. Затем ночь закрывалась, словно дверной глазок, и от глубокого покоя хотелось быть выпавшимся.

33.

В первые дни внезапно пришедшей осени, когда наступление вечера принимает облик чего-то преждевременного и кажется, что на то, что мы делаем днем, уходит много времени, я наслаждаюсь, даже во время повседневной работы, этим предвкушением не-работы, которое приносит с собой тень, из-за того что она – ночь, а ночь – это сон, домашний уют, освобождение. Когда зажигается свет в просторной конторе, и она перестает быть темной, и мы, не переставая работать днем, собираемся задержаться, я испытываю нелепый комфорт как воспоминание о ком-то другом, и мне спокойно оттого, что я пишу, как когда я читаю до тех пор, пока не почувствую, что пора идти спать.

Все мы – рабы внешних обстоятельств: солнечный день открывает перед нами просторные поля посреди скромного кафе в переулке; тень в поле заталкивает нас внутрь самих себя, и мы еле-еле укрываемся в доме без дверей, коим являемся мы сами; наступление ночи, даже среди дневных забот, расширяет,

словно медленно раскрывающийся веер, сокровенное осознание необходимости отдохнуть.

Но при этом работа не стопорится, а оживляется. Мы уже не работаем; нам приносят отдых дела, к которым мы прикованы. И вдруг на широком разлинованном листе моей судьбы бухгалтера – старый дом пожилых тетушек, закрытый от мира, угощает чаем в сонные десять часов, и керосиновая лампа моего утраченного детства, освещающая только укрытый льном стол, затемняет своим светом облик Морейры, освещенного черным электричеством бесконечно далеко от меня. Приносят чай – его приносит служанка, которая еще старше тетушек, вместе с остатками сна и с терпеливым дурным настроением, свойственным ласковости давнего подчинения, – и я безошибочно вношу запись или сумму сквозь все свое мертвое прошлое. Я заново поглощаю себя, теряю себя, забываю себя в далеких ночах, не запятнанных обязательствами и миром, девственно чистых перед лицом тайны и будущего.

И так нежно ощущение, отдаляющее меня от дебета и кредита, что, если мне случайно задают вопрос, я отвечаю мягко, как если бы мое существо было полым, как если бы я был всего лишь пишущей машинкой, которую я ношу с собой, как открытое переносное устройство меня самого. Меня не обескураживает прерывание моих грез: они так нежны, что я продолжаю видеть их, говоря, ведя записи, отвечая и даже беседуя. И при всем том остывший чай заканчивается и контора скоро закроется... Я поднимаю от книги, медленно закрывая ее, глаза, уставшие от плача, которого не было, и, обуреваемый смешанными ощущениями, страдаю оттого, что, когда закроется контора, закроется и моя мечта; что в движении руки, которым я закрываю книгу, закрывается непоправимое прошлое; что в постель жизни я отправлюсь один, без сна и без покоя, во власти прилива и отлива моего перемешанного сознания, словно между двумя приливами черной ночи, на исходе судеб, исполненных ностальгии и безысходности.

34.

Иногда я думаю, что никогда не выберусь с улицы Золотильщиков. И когда эти слова написаны, они кажутся мне вечностью.

Не удовольствие, не слава, не власть: свобода, исключительно свобода.

Перейти от призраков веры к привидениям разума означает просто перебраться из одной тюремной камеры в другую. Если искусство освобождает нас от отсутствующих и устаревших идиологов, оно освобождает и от щедрых идей и от социальных забот – которые тоже являются идолами.

Найти личность в ее утрате – сама вера укрепляет этот смысл судьбы.

35.

...и глубокое и отвратительное презрение ко всем тем, кто трудится ради человечества, ко всем тем, кто сражается за родину и отдает свою жизнь, чтобы цивилизация продолжалась...

...презрение, исполненное тоски, к тем, кому неизвестно, что единственная реальность для каждого – это его собственная душа, а остальное – внешний мир и прочие люди – есть неэстетический кошмар как результат случившегося в мечтах несварения духа.

Моя неприязнь к усилию доходит до почти что жестикулирующего ужаса перед всеми формами резкого усилия. И война, производительный и энергичный труд, помощь другим... Все это кажется мне лишь производным от бесстыдства <...>

И перед высшей реальностью моей души все то, что полезно и внешне, кажется мне легкомысленным и заурядным перед верховным и чистым величием моих самых живых и частых грез. Для меня они более реальны.

36.

Не скромные стены моей обыденной комнаты, не старые письменные столы чужой конторы, не бедность прилегающих к привычной Байше улиц, по которым я ходил столько раз, что мне кажется, будто они узурпировали неизменность непоправимости, вызывают в моем духе часто им испытываемую тошноту от оскорбительной обыденности жизни. Ее вызывают люди, которые обычно меня окружают, души, которые, ничего обо мне не зная, каждый день узнают меня за едой и разговорами и помещают в горле моего духа ком физического

отвращения. И однообразная гнусность их жизни, параллельная внешней стороне моей жизни, представляет собой их сокровенное осознание похожести на меня, которое облакает меня в робу каторжника, помещает меня в тюремную камеру, делает меня недостовверным и нищим.

Бывают мгновения, в которые каждая деталь обыденности интересует меня в самом своем существовании, и я испытываю ко всему привязанность, обусловленную умением ясно все прочитывать. Тогда я вижу – как, по словам Виейры, описывал Соуза[б - Луиш де Соуза (1556–1632) – доминиканский монах, прозаик и биограф.] – обыденное в особом свете и становлюсь поэтом с тем душевным складом, благодаря которому критика греков положила начало интеллектуальной эпохе поэзии. Но бывают и мгновения – и сейчас меня угнетает одно из таких мгновений, – в которые я чувствую больше себя самого, чем внешние вещи, и все для меня превращается в дождливую ночь и грязь, и я теряюсь на одиноком полустанке у развилки, в перерыве между двумя поездами третьего класса.

Да, моя сокровенная добродетель, заключающаяся в том, чтобы часто быть объективным и тем самым уходить от размышлений о себе, страдает, как и всякая добродетель и даже всякий порок, от меньшей утвердительности. Тогда я спрашиваю себя самого, как же я выживаю, как осмеливаюсь иметь трусость, чтобы находиться здесь, среди этих людей, будучи очевидно равным им и будучи по-настоящему уверен в иллюзии гнусности их всех? В свете далекого фонаря передо мной предстают все решения, которым воображение поддается, словно женщина, – самоубийство, бегство, отречение, великие жесты аристократии индивидуальности, плащ и шпага существований, лишенных сценария.

Но идеальная Джульетта из лучшей реальности закрыла над вымышленным Ромео моей крови высокое окно литературного свидания. Она подчиняется своему отцу; он – своему. Продолжается ссора Монтекки и Капулетти; опускается занавес над тем, чего не произошло; и я возвращаюсь домой – в ту комнату, где находится отвратительная хозяйка дома, которой там нет, ее сыновья, которых я вижу редко, люди из конторы, которых я увижу только завтра – с воротом пиджака служащего по торговой части, поднятым над шеей поэта, я бессознательно обхожу лужи, оставшиеся от холодного дождя, в сапогах, купленных в том же магазине, и испытываю некоторое смешанное беспокойство оттого, что опять забыл зонт и достоинство души.

37.

Болезненный интервал

Нечто, брошенное в угол, тряпка, упавшая на улицу: так мое презренное существо притворяется перед жизнью.

38.

Завидую всем людям, что они – не я. Поскольку из всего невозможного это всегда мне казалось самым главным, именно оно в наибольшей степени составляло мою повседневную тоску, мое отчаяние во все часы грусти.

Матовый луч зловещего солнца выжиг из моих глаз физическое ощущение зрения. Желтизна жары замерла в темной зелени деревьев. Оцепенение <...>

39.

Вдруг, как если бы судьба-хирург, прооперировав мою застарелую слепоту, добилась мгновенных результатов, я поднимаю голову от моей безымянной жизни для ясного понимания того, как я существую. И вижу, что все, что я сделал, все, о чем думал, все, чем был, есть разновидность обмана и безумия. Я изумляюсь тому, что прежде умудрялся этого не видеть. Удивляюсь, каким я был, и вижу, что я на самом деле не такой.

Я смотрю, словно на простор, который озаряет прорывающееся сквозь тучи солнце, на свою прошлую жизнь; и отмечаю с метафизическим ошеломлением, что все мои самые уверенные жесты, самые ясные мысли и самые логичные намерения, в конечном счете, были лишь прирожденным опьянением, естественным безумием, великим незнанием. Я даже не играл себя. Меня играли. Я был не актером, а его жестами.

Все, что я сделал, о чем думал, чем был, есть сумма подчинений либо ложному существу, которое я считал своим, потому что я действовал вовне, находясь в нем, либо бремени обстоятельств, которые я принял за воздух, коим я дышал. В это мгновение прозрения я внезапно становлюсь одиночкой, который обнаруживает, что является изгнанником там, где всегда считал себя гражданином. В самом сокровенном, о чем я думал, я не был собой.

Тогда меня охватывает саркастический ужас жизни, уныние, которое выходит за границы моей сознающей индивидуальности. Я знаю, что ошибался и заблуждался, что никогда не жил и существовал лишь потому, что заполнял время сознанием и размышлением. И мое ощущение себя подобно ощущению того, кто просыпается после сна, наполненного реальными грезами, или того, кто благодаря землетрясению освободился от полутемной тюрьмы, к которой он привык.

Меня тяготит, действительно тяготит, словно приговор, который предстоит узнать, это неожиданное понимание моей настоящей индивидуальности, той, что всегда сонно путешествовала между тем, что чувствует, и тем, что видит.

Описать то, что чувствуешь, когда чувствуешь, что действительно существуешь и что душа – это реальная величина, настолько трудно, что я не знаю, какими человеческими словами это можно определить. Не знаю, охвачен ли я лихорадкой, как ощущаю, избавился ли я от лихорадки того, кто просыпает жизнь. Да, повторяю, я подобен путешественнику, который вдруг оказывается в чужом городе, но не знает, как он туда попал; и мне вспоминаются случаи тех, кто утратил память и надолго стал другим человеком. Я был другим человеком в течение долгого времени – с молодости и обретения сознания, – и сейчас я прихожу в себя на середине моста, согнувшись над рекой и зная, что существую более прочно, чем до того, как попал сюда. Но город мне не знаком, улицы внове, а недуг не излечен. Согнувшись над мостом, я жду, что истина пройдет и я снова стану ничтожным и мнимым, разумным и естественным.

Это было мгновение, и оно уже прошло. Я уже вижу окружающую меня мебель, рисунки на старых обоях, солнце сквозь пыльные окна. На мгновение я узрел истину. В полном сознании я на мгновение стал тем, чем являются великие люди по отношению к жизни. Я вспоминаю их действия и слова и не знаю, не подвергал ли с успехом и их соблазну Демон Реальности. Не знать о себе значит жить. Плохо знать себя значит думать. Познать себя вдруг, как в это знаменательное мгновение, значит неожиданно обрести понимание сокровенной

монады, волшебного слова души. Но этот неожиданный свет сжигает все, поглощает все. Оставляет нас нагими перед самими собой.

Это было лишь мгновение, и я себя увидел. Теперь я даже не могу сказать, чем я был. И, наконец, я хочу спать, потому что, сам не знаю почему, полагаю, что смысл – это сон.

40.

Порой я чувствую, не знаю почему, что меня коснулось предупреждение смерти... То ли неясное недомогание, которое не материализуется в боль и потому, как правило, одухотворяется в некоей цели, то ли усталость, желающая такого глубокого сна, что ей недостаточно просто выспаться, – очевидно, что я себя чувствую так, словно, измученный болезнью, я наконец протянул без резких движений или сожаления слабые руки на измятом одеяле.

Тогда я размышляю над тем, что именно мы называем смертью. Я не имею в виду тайну смерти, которую не постигаю, а физическое ощущение прекращения жить. Человечество боится смерти, но неотчетливо; нормальный человек, подвергаясь испытанию, успешно борется, нормальный человек, больной или старый, редко когда смотрит с ужасом в пропасть того небытия, которое он этой пропасти приписывает. Все это – нехватка воображения. Нет ничего более ошибочного, чем полагать, будто смерть подобна сну. Почему смерть должна быть сном, если она на сон не похожа? Главное во сне – это пробуждение от него, а от смерти, как предполагается, не пробуждаются. И если смерть похожа на сон, мы должны иметь представление о том, как от нее пробуждаются. Однако не это представляет себе нормальный человек: он представляет себе смерть как сон, от которого не просыпаются, но это ничего не значит. Смерть, как я сказал, не похожа на сон, поскольку во сне человек жив и спит; я не знаю, как можно уподоблять смерть чему бы то ни было, ведь невозможно получить опыт смерти или чего-то, с чем его можно сравнить.

Мне, когда я вижу мертвеца, смерть кажется уходом. Труп производит на меня впечатление оставленного костюма. Кто-то ушел, и ему не понадобился тот единственный костюм, который он надевал.

41.

Тишина, исходящая из шума дождя, распространяется, как крещендо серого однообразия, по узкой улице, на которую я гляжу. Я сплю наяву, стоя у окна, на которое опираюсь, как если бы оно было всем. Я пытаюсь понять, какие ощущения я испытываю перед этим расхлестанным падением хмуро поблескивающей воды, которая выделяется на фоне грязных фасадов и еще сильнее на фоне открытых окон. И не знаю, что чувствую, не знаю, что хочу почувствовать, не знаю, что думаю и кто я есть.

В моих глазах, лишенных ощущений, вся запоздалая горечь моей жизни снимает с себя костюм естественного веселья, которым пользуется в длительных случайных каждодневных обстоятельствах. Удостоверяюсь в том, что, хотя я столько раз бываю веселым и довольным, я всегда грустен. И то, что во мне это удостоверяет, находится позади меня и как будто склоняется надо мной, опирающимся на окно, и из-за моих плеч или даже из-за моей головы смотрит более сокровенным взглядом, чем мой, на медленный, уже слегка вьющийся дождь, движение которого придает изящества пасмурному и угрюмому воздуху.

Бросить все обязательства, даже те, которых от нас не требуют, отвергнуть все домашние очаги, даже те, что никогда не были нашими, жить неясностью и следами, среди величественного пурпура безумия и поддельных кружев воображаемого величия... Быть чем-то, что не чувствует ни тяжести дождя снаружи, ни горечи сокровенной пустоты... Блуждать без души и без мысли – ощущение, лишенное самого себя – по дороге, огибающей горы и бегущей по долинам, над которыми нависают крутые склоны, и чувствовать себя далеким, погруженным и неизбежным... Потеряться среди пейзажей, похожих на картины. Стать ярким и далеким Ничем...

Легкое дуновение ветра, которого я, стоя за окном, не чувствую, рвет воздушными перепадами прямолинейное падение дождя. Какая-то часть неба, которой я не вижу, проясняется. Я замечаю это потому, что за наполовину чистыми стеклами в окне напротив я уже смутно вижу на стене там, внутри, календарь, которого до сих пор не видел.

Забываю. Не вижу, не думаю.

Дождь прекращается, и на мгновение от него остается россыпь мельчайших алмазов, как если бы в вышине большая скатерть лазурно стряхнула с себя эти крохи. Чувствуется, что часть неба уже открылась. В окне напротив отчетливее виден календарь. У него лицо женщины, а остальное просто, потому что я его узнаю, а зубная паста – самая известная из всех.

Но о чем я думал до того, как засмотрелся? Не знаю. О силе воли? Об усилении? О жизни? Свет властно врывается, и чувствуется, что небо уже почти совсем голубое. Но покоя нет – ах, и не будет никогда! – в глубине моего сердца, как в старом колодце в глубине проданного сада, этом воспоминании детства, запертом в пыльном подвале чужого дома. Нет покоя – о горе мне! – и нет даже желания его иметь...

42.

Я понимаю лишь как своего рода недостаток чистоплотности то бездеятельное постоянство моей всегда одинаковой жизни, в которой я покоюсь и которая осела, словно пыль или грязь, на поверхности вечной неизменности.

Так же, как мы моем тело, нам следовало бы мыть судьбу, менять жизнь, как мы меняем белье – не для того, чтобы сохранить жизнь, как когда мы едим и спим, а из-за того постороннего уважения к нам самим, которое мы, собственно, и называем чистоплотностью.

Есть много людей, для которых нечистоплотность – это не веление воли, а лишь пожимание плечами ума. И для многих блеклость и однообразие жизни – это не форма любви к ней или естественное приспособление к нелюбви к ней, а затухание собственного разума, автоматическая ирония познания.

Есть мерзавцы, которым отвратительна их собственная мерзость, но которые не уходят от нее из-за той же обостренности чувства, из-за которой напуганный человек не уходит от опасности. Есть мерзавцы судьбы, как я, которые не уходят от повседневной обыденности из-за той самой привлекательности собственного бессилия. Они – птицы, зачарованные отсутствием змеи; мухи, которые садятся на стволы деревьев и ничего не видят, пока не попадут в поле досягаемости липкого языка хамелеона.

Так я медленно выгуливаю мою сознательную бессознательность по моему стволу дерева обыкновенности. Так я выгуливаю мою судьбу, которая идет вперед, потому что не иду я; мое время, которое течет, потому что не теку я. От монотонности меня спасают лишь эти краткие заметки о ней, которые я записываю. Я довольствуюсь тем, что в моей камере по эту сторону решеток есть стекла, и вывожу на них, на пыли необходимого, мое имя большими буквами, как ежедневную подпись в моей переписке со смертью.

Со смертью? Нет, даже не со смертью. Тот, кто живет так, как я, не умирает: он подходит к концу, затухает, увядает. Место, где он был, остается и без него, улица, по которой он ходил, остается, хотя его на ней не видно, в доме, где он жил, теперь обитает не-он. Вот и все, и мы называем это небытием; но и эту трагедию отрицания мы не можем представить под аплодисменты, поскольку мы не знаем наверняка, небытие ли это – мы, ростки истины и жизни, пыль, скапливающаяся внутри и снаружи оконных стекол, внуки Судьбы и пасынки Бога, который женился на Вечной Ночи, когда она стала вдовой породившего нас Хаоса.

Уйти с улицы Золотильщиков ради недостижимого... Поднять голову от пюпитра к Неизвестному. Но оно переплетено с Разумом – Великой Книгой, рассказывающей о том, что мы были.

43.

Бывает усталость абстрактного ума, самая ужасная из усталостей. Она не тяготит, как усталость телесная, не тревожит, как усталость эмоционального познания. Это тяжесть осознания мира, невозможность дышать душой.

Тогда все мысли, как если бы они были облаками и на них подул ветер, все мысли, в которых мы чувствовали жизнь, все устремления и намерения, на которых мы основывали надежду на ее продолжение, разрываются, раскрываются, удаляются, обратившись в пепел тумана, в лохмотья того, чего не было и не могло быть. И за поражением возникает в своей чистой форме черное и непреклонное одиночество пустынного звездного неба.

Тайна жизни причиняет нам боль и по-разному пугает. Иногда нас посещает своего рода бесформенный призрак, и душа дрожит, охваченная худшим из

страхов – страхом перед уродливым воплощением небытия. Иногда она находится позади нас и видна лишь тогда, когда мы не оборачиваемся, чтобы увидеть, и вся истина тайны заключена в глубочайшем ужасе оттого, что мы ее не знаем.

Но тот ужас, который сегодня меня уничтожает, менее благороден и более жгуч. Это стремление не хотеть мыслить, желание никогда не быть никем, сознательное отчаяние всех клеток души и тела. Это внезапное ощущение, будто тебя заперли в бесконечной камере. Как можно думать о побеге, если сама камера – это и есть все?

И тогда меня посещает всеохватывающее, нелепое желание сродни сатанизму, предшествовавшему Сатане: чтобы однажды – в день, не связанный со временем и не обладающий сущностью – был найден способ бежать от Бога и чтобы самое глубокое, что есть в нас, перестало, не знаю как, быть частью бытия или небытия.

44.

Есть сон добровольного внимания, который я не умею объяснить и который часто на меня набрасывается, если о таком расплывчатом явлении можно говорить, что оно на кого-то набрасывается. Я иду по улице, как человек, который сидит, и мое внимание, открытое всему, все еще охвачено инерцией полного телесного отдыха. Я не смог бы осознанно уклониться от прохожего, идущего мне навстречу. Я бы не смог ответить словами или даже мыслями внутри себя на вопрос случайного встречного, который оказался бы на моем случайном пути. Я бы не смог испытывать желание, надежду, что-либо, что представляло бы собой движение не то чтобы воли моего полного существа, но даже, если можно так сказать, частичной и собственной воли каждого элемента, на который меня можно разложить. Я не смог бы думать, чувствовать, хотеть. И я шагаю, следую, слоняюсь. Ничто в моих движениях (я замечаю по тому, чего не замечают другие) не делает зримым состояние безволия, в котором я пребываю. И это состояние отсутствия души, которое было бы удобным, поскольку оно очевидно, для человека лежащего или откинувшегося в кресле, особенно неудобно и даже болезненно для человека, идущего по улице.

Это ощущение опьянения от безделья, пьянства без веселья ни в нем самом, ни в том, что оно вызывает. Это недуг, выздороветь от которого я и не мечтаю. Это бодрая смерть <...>

45.

Вести жизнь бесстрастную, но культурную, отдаваясь веянию идей, читая, мечтая и намереваясь писать, жизнь достаточно медленную для того, чтобы быть всегда на грани тоски, достаточно продуманную, чтобы никогда в тоску не погружаться. Жить этой жизнью вдали от переживаний и от размышлений, лишь в размышлении над переживаниями и в переживаниях от размышлений. Блаженно замирать под солнцем, как темное озеро, окруженное цветами. Сохранять в тени то благородство индивидуальности, которое заключается в том, чтобы в отношениях с жизнью ни на чем не настаивать. В кружении миров уподобляться цветочной пыльце, которую неизвестный ветер вздымает в вечернем воздухе и неуклюжесть наступающей ночи опускает в случайном месте, где она незаметна среди более крупных вещей. Быть этим, обладая твердым знанием, ни веселым, ни грустным, и благодарить солнце за его свет и звезды за их далекость. Не быть ничем большим, не иметь большего, не хотеть большего... Музыка голодающего, песнь слепого, мощи неведомого путника, бесцельные шаги по пустыне ненавьюченного верблюда...

46.

Я пассивно перечитываю, воспринимая то, что чувствую, как вдохновение и освобождение, простые фразы Каэйру[7 - Алберту Каэйру (1889-1915) - один из гетеронимов Пессоа, поэт, проживший всю жизнь в сельской местности и воспевавший природу.], естественным образом связанные с тем, что является следствием маленьких размеров его деревни. Поскольку она мала, говорит он, оттуда мир виден лучше, чем из города; и поэтому деревня больше города...

Ибо я размером с то, что вижу,

а не того размера, что мой рост.

Такие фразы, словно вырастающие в отсутствие воли, которая произнесла бы их, очищают меня от всей метафизики, которую я произвольно добавляю в жизнь. Прочитав их, я подхожу к моему окну, выходящему на узкую улицу, смотрю на широкое небо и множество звезд и чувствую себя свободным благодаря крылатому великолепию, от вибрации которого содрогается все мое тело.

«Я размером с то, что вижу!» Всякий раз, когда я размышляю над этой фразой с максимальным напряжением моих нервов, мне кажется, что ей суждено перестроить созвездия, составляющие вселенную. «Я размером с то, что вижу!» Какая духовная мощь поднимается из колодца глубоких переживаний к высоким звездам, что отражаются в нем и тем самым, в определенном смысле, в нем находятся.

И уже теперь, осознавая, что я умею видеть, я смотрю на обширную объективную метафизику всех небес с уверенностью, которую в меня вселяет желание умереть с песней. «Я размером с то, что вижу!» И рассеянный лунный свет, полностью мне принадлежащий, начинает разъедать своей рассеянностью полупрозрачную лазурь горизонта.

Мне хочется вздеть руки и прокричать нечто исполненное неведомой дикости, сказать слова высоким тайнам, утвердить новую широкую личность на великих просторах пустой материи.

Но я беру себя в руки и успокаиваюсь. «Я размером с то, что вижу!» И фраза остается для меня целой душой, я вкладываю в нее все эмоции, что испытываю, и непостижимый покой сурового лунного света, широко разливающийся с наступлением ночи, проникает в меня изнутри и в город извне.

47.

...в грустной неопрятности моих смятенных переживаний...

Сумеречная грусть, сотканная из усталостей и ложных отказов, тоска от любых ощущений, боль словно от остановленного рыдания или от обретенной истины. В моей невнимательной душе разворачивается этот пейзаж отречений – аллеи незавершенных жестов, высокие клумбы невиденных как следует снов, бессвязности, словно стены из самшита, разделяющие пустые дороги,

предположения, словно старые пруды без живой струи, все спутывается и выглядит жалко в грустной неопрятности моих смятенных переживаний.

48.

Чтобы постичь, я разрушил себя. Понять значит забыть, как любить. Я не знаю ничего более ложного и значимого одновременно, чем высказывание Леонардо да Винчи о том, что любить или ненавидеть что-либо можно, лишь поняв его.

Одиночество опустошает меня; общество людей меня гнетет. Присутствие другого человека сбивает меня с мыслей; я грежу о его присутствии с особой рассеянностью, которую неспособны определить все мои аналитические способности.

49.

Уединение слепило меня по своему образу и подобию. Присутствие другого человека – всего одного человека – мгновенно замедляет мои мысли, и, если нормального человека общение с другим побуждает к самовыражению, для меня такое общение служит контрстимулом, если такое составное слово допустимо, с точки зрения языка. Наедине с собой я способен придумывать остроумные высказывания, быстрые ответы на то, чего никто не говорил, блестяще демонстрировать интеллигентную общительность с любым человеком; но все это улетучивается, если я оказываюсь перед другим живым человеком – я теряю ум, лишаюсь силы речи и через некоторое время испытываю лишь сонливость. Да, от разговоров с людьми мне хочется спать. Только мои призрачные и воображаемые друзья, только мои беседы, протекающие в мечтах, обладают подлинной реальностью и должной значимостью, и дух в них присутствует так же, как образ в зеркале.

Кроме того, меня гнетет сама мысль быть принужденным к общению с другим. Простое приглашение поужинать с другом вызывает во мне трудно определяемую тревогу. Мысль о какой-либо социальной обязанности – сходить на похороны, обсудить с кем-нибудь какое-либо дело в конторе, отправиться на вокзал, чтобы встретить какого-то человека, знакомого или нет, – сама идея вносит сумятицу в мои мысли на целый день, и иногда я начинаю беспокоиться

еще накануне и плохо сплю; в действительности, такие случаи, когда они происходят, оказываются совершенно незначительными и ничего не оправдывают; и они повторяются, а я никогда не учусь учиться.

«Мои привычки происходят от одиночества, а не от людей»; не знаю, сказал ли это Руссо, или Сенанкур[8 - Этьенн Пивер де Сенанкур (1770–1846) – французский писатель. В 1804 году был издан его роман «Оберманн», который представляет собой исполненную пессимизма исповедь главного героя. Выход из безотрадного существования – самоубийство, которое герой оправдывает, но не совершает.]. Но это была какая-то душа, принадлежавшая к тому же виду, что и моя, если не сказать, что к той же расе.

50.

Свет светлячка регулярно мерцает. Темное поле вокруг – это бескрайнее отсутствие шума, которое почти хорошо пахнет. Умиротворенность всего болит и тяготит. Бесформенная тоска душит меня.

Я редко отправляюсь за город, почти никогда не провожу там весь день и не остаюсь на ночь. Но сегодня мой друг, в чьем доме я гощу, не позволил мне отказаться от его приглашения, и я приехал сюда в полном замешательстве – как робкий человек на большой праздник, – я прибыл сюда радостно, наслаждался воздухом и просторными видами, хорошо пообедал и поужинал, и теперь, темной ночью, в моей комнате без света неясное пространство наполняет меня тревогой.

Из окна комнаты, в которой я буду спать, открывается вид на открытое поле, на неопределенное поле, представляющее собой все поля, на величественную, неясно украшенную звездами ночь, в которой чувствуется, но не слышится легкий ветер. Сидя у окна, я созерцаю органами чувств то небытие вселенской жизни, что царит там, снаружи. Время обретает гармонию в беспокойном ощущении, от видимой невидимости всего до древесины, смутно шероховатой оттого, что растрескалась старая краска на беловатом подоконнике, на край которого тяжело опирается моя левая рука.

Сколько раз, тем не менее, мой взор жаждал этой умиротворенности, от которой я бы сейчас почти что сбежал, если бы это было просто или прилично! Сколько

раз я думал – там, внизу, среди узких улиц между высокими домами, – что покой, проза, определенность скорее находятся здесь, среди природы, а не там, где скатерть цивилизации заставляет забыть о покрытой лаком сосне, на которой она расстелена! И теперь, здесь, чувствуя себя здоровым, по-хорошему уставшим, я неспокоен, я пленен, я тоскую.

Не знаю, происходит ли это только со мной, или со всяким, кому цивилизация дала возможность родиться во второй раз. Но мне кажется, что для меня или для тех, кто чувствует так, как я, искусственное стало естественным, а естественное стало странным. Поясню: искусственное не стало естественным; естественное стало иным. Я презираю автомобили и обхожусь без них, презираю плоды науки – телефоны, телеграфы, – которые облегчают жизнь, и побочные продукты фантазии – граммофоны, приемники Герца, – которые делают веселой жизнь тем, кого они веселят, – и тоже обхожусь без них.

Ничто из этого мне не интересно, ничего из этого я не желаю. Но я люблю Тежу, потому что на его берегу есть большой город. Я наслаждаюсь небом, потому что вижу его с пятого этажа на улице в Байше. Поле или природа не могут мне дать ничего, что сравнилось бы с неравномерной величественностью вида спокойного города под лунным светом, который открывается от Грасы или Сао-Педру-де-Алкантара[9 - Смотровые площадки, с которых открывается вид на Лиссабон.]. Для меня нет цветов, сравнимых с пестрейшим колоритом Лиссабона под солнцем.

Красоту обнаженного тела чувствуют только одетые расы. Целомудрие важно прежде всего для чувственности в качестве препятствия для ее энергии.

Искусственность – это способ наслаждаться естественностью. Тем, чем я наслаждался на этих просторных полях, я наслаждался потому, что не живу здесь. Не чувствует свободы тот, кто никогда не жил в заточении.

Цивилизация – это плод воспитания природы. Искусственное – это путь к тому, чтобы оценить естественное.

Необходимо, однако, чтобы мы никогда не принимали искусственное за естественное.

В гармонии между естественным и искусственным и заключается естественность высшей человеческой души.

51.

Черное небо вдали, к югу от Тежу, было зловеще черным по контрасту с ярко-белыми крыльями беспокойно летавших чаек. Однако день уже не был ненастным. Вся угрожающая масса дождя перешла на другой берег, и нижний город, еще влажный от прошедшего слабого дождя, улыбался с земли небу, северная часть которого еще была голубой с белым отливом. От весенней свежести было немного холодно.

В такой час, пустой и невесомый, мне нравится сознательно вести мысль к размышлению, которое есть ничто, но при этом, в чистоте своего небытия, отчасти вбирает в себя бесплодную холодность прояснившегося дня с черным фоном вдали и некоторые прозрения, подобные чайкам, что напоминают своим контрастом о тайне всего во всеохватной черноте.

Но вдруг, вопреки моему сокровенному литературному намерению, черный фон неба на Юге вызывает в моей памяти воспоминание, подлинное или ложное, об ином небе, увиденном, быть может, в другой жизни, к северу от небольшой реки, с грустными зарослями тростника и без какого-либо города. Сам не знаю как, пейзаж для диких уток увлекает мое воображение, и я отчетливо, словно в странном сне, ощущаю себя вблизи от воображаемого простора.

Заросли тростника на берегу рек, земли охотников и тревог, где неровные берега, будто маленькие грязные веревки, врезаются в свинцово-желтые воды и отступают в илистые бухты для почти игрушечных кораблей, в ручейки, где вода блестит на поверхности ила, сокрытого среди зелено-черных тростниковых стеблей, сквозь которые невозможно пройти.

У опустошения оттенок мертвенно-серого неба, которое тут и там сминается в тучи, еще более черные, чем оттенок неба. Я не чувствую ветра, но он есть, а другой берег – это, по сути, длинный остров, за которым угадывается – большая заброшенная река! – другой, настоящий берег, раскинувшийся на непримечательном расстоянии.

Никто туда не добирается и не доберется. Если бы, вследствие противоречивого ускользания времени и пространства, я смог сбежать от мира в этот пейзаж, туда бы никто не добрался. Я напрасно бы ждал чего-то, не зная, что жду, и, в конце концов, просто медленно наступила бы ночь и все пространство медленно окрасилось бы в цвет самых черных туч, которые постепенно возникали бы на одинокой совокупности неба.

И вдруг я здесь чувствую исходящий оттуда холод. Он идет от костей и охватывает все тело. Пробудившись, я глубоко дышу. Человек, который сталкивается со мной под Портиком у Биржи, смотрит на меня с недоверием непонимающего. Черное небо, густея, опускается еще ниже над Югом.

52.

Поднялся ветер... Сначала он был подобен голосу пустоты... дуновение во внутреннем пространстве полости, отсутствие в тишине воздуха. Потом раздалось рыдание, рыдание из глубины мира, дребезжание дрожащих оконных стекол, которое действительно было ветром. Затем еще громче зазвучал, словно глухое мычание, плач без бытия перед наступлением ночи, скрежет вещей, падение обломков, атом конца света.

Потом казалось, что <...>

53.

Когда, как в ненастную ночь, за которой следует день, христианство пронеслось над душами, стал виден ущерб, который оно невидимо нанесло; причиненные им разрушения стали видны, только когда оно уже пронеслось. Одни посчитали, что разрушения произошли по его вине; но его уход лишь показал разрушения, а не вызвал их.

Тогда в этом мире душ остались зримые разрушения, очевидное бедствие, которое не сокрыла мнимая нежность сумерек. Души показали себя такими, какие они есть.

Тогда начался в душах едва завершившейся эпохи тот недуг, что получил название романтизма, это христианство без иллюзий, это христианство без мифов, которое является самой черствостью своей болезненной сущности.

Все зло романтизма – в смешении того, что нам необходимо, и того, чего мы желаем. Всем нам для жизни нужны необходимые вещи, их нужно сохранять и продолжать; все мы желаем более совершенной жизни, полноценного счастья, осуществления наших мечтаний...

Нам свойственно хотеть того, что нам необходимо, и свойственно желать того, что нам не нужно, но является для нас желаемым. Нездорово желать с одинаковой силой того, что нужно, и того, что желаемо, и страдать от своего несовершенства так, как страдают те, у кого нет хлеба. Недуг романтизма заключается в этом: хотеть Луну так, как если бы ее можно было заполучить.

«Нельзя съесть пирожное, не потеряв его».

В низменной сфере политики, как и в сокровенном пространстве душ – один и тот же недуг.

Язычнику в реальном мире было неведомо это болезненное ощущение вещей и себя самого. Будучи человеком, он желал также и невозможного; но не хотел его. Его религия была <...> и только в глубинах тайны, только посвященным, вдали от народа и от <...> преподавались те трансцендентные религиозные детали, которые заполняют души пустотой мира.

54.

Самобытную и величественную личность, которую романтики видели в самих себе, я неоднократно пытался прочувствовать в грезах, и столько раз, сколько я пытался ее прочувствовать, я громко смеялся над этим моим замыслом. В конце концов, роковой человек существует в мечтах, присущих всем заурядным людям, а романтизм – это лишь выворачивание наизнанку нашего повседневного контроля над самими собой. Почти все люди в глубине себя мечтают о собственном могучем империализме, о подчинении всех мужчин, о покорении всех женщин, об обожании народов, а самые достойные – всех эпох... Поэтому немногие привычные к грезам, вроде меня, достаточно рассудительны, чтобы

смеяться над эстетической возможностью подобных мечтаний.

Главное обвинение против романтизма еще не выдвинуто: обвинение в том, что он представляет внутреннюю истину человеческой природы. Его преувеличения, его глупости, его разнообразные способности волновать и соблазнять заключаются в том, что он является внешним отображением того, что есть внутри души, но отображением конкретным, опознаваемым и даже возможным, если бы возможность зависела не от Судьбы, а от чего-то другого.

Сколько раз я сам, смеясь над подобными соблазнами отвлечения, погружаюсь в размышления о том, как было бы хорошо стать знаменитым, как было бы приятно слушать похвалу, как было бы великолепно торжествовать! Если мне и удастся представить себя на такой высоте, то лишь в сопровождении хохота другого меня, который всегда рядом со мной, как одна из улиц Байши. Я вижу себя знаменитым? Но я вижу себя лишь знаменитым бухгалтером. Чувствую себя вознесшимся на трон известности? Но дело происходит в конторе на улице Золотильщиков, и этому препятствуют мои коллеги. Слышу, как мне рукоплещет разношерстная толпа? Рукоплескания доносятся до пятого этажа, где я живу, и наталкиваются на грубую мебель моей дешевой комнаты, на всю пошлость, что меня окружает и унижает от кухни <...> до сна. У меня даже не было замков в Испании, как у великих испанцев во всех фантазиях. Мои замки были построены из карт, старых, грязных, из неполной колоды, которыми уже нельзя было играть, и они не рухнули – их пришлось разрушить жестом руки, подчиняясь нетерпеливой настойчивости старой служанки, которая хотела расстелить на весь стол скатерть, покрывавшую его наполовину, потому что час чаепития пробил, как проклятие Судьбы. Но даже этот образ бесполезен, поскольку у меня нет загородного дома или старых тетюшек, за столом которых, по окончании семейного вечера, я бы пил чай, приносящий отдохновение. Моя греза потерпела крах даже в метафорах и изображениях. Моя власть не распространилась даже на старые игральные карты. Моя победа не состоялась без чайника и даже без старого кота. Я умру так, как жил, и на пригородной толкучке меня оценят на вес, как один из постскриптумов утраченного.

Пусть я хотя бы донесу до возможной бесконечности всеобщей бездны славу моего разочарования, как если бы это было разочарование в большой мечте, великолепие неверия, словно знамя поражения – пусть и знамя в слабых руках, но знамя, проташенное по илу и крови изможденных, но воздетое ввысь, пока мы погружаемся в зыбучие пески, никто не знает, в каком качестве – протеста, вызова или жеста отчаяния. Никто не знает, потому что никто ничего не знает, а

пески поглощают и тех, у кого есть знамена, и тех, у кого их нет. И пески покрывают все – мою жизнь, мою прозу, мою вечность.

Я несу с собой сознание поражения, как знамя победы.

55.

Хотя я душой и принадлежу к породе романтиков, я нахожу отдохновение лишь в чтении классиков. Сама их ограниченность, через которую выражается их ясность, меня утешает, не знаю в чем. Я улавливаю в них радостное впечатление от широкой жизни, которая созерцает просторы, не пересекая их. Те же языческие боги отдыхают от тайны.

Чрезвычайно любопытный анализ ощущений – иногда тех ощущений, которые, как нам кажется, мы испытываем, – отождествление сердца с пейзажем, анатомическое выявление всех нервов, использование желания как воли и стремления как мысли – все это мне слишком хорошо знакомо для того, чтобы в ком-то другом казалось мне новинкой или приносило покой. Всякий раз, когда я это испытываю, я бы хотел, именно потому, что я это испытываю, испытывать нечто другое. И, когда я читаю классика, мне это другое дается.

Признаюсь в этом без притворства и без стыда... Нет фрагмента у Шатобриана или песни у Ламартина[10 - Альфонс де Ламартин (1790–1869) – французский писатель и драматург романтического направления, а также политический деятель, провозгласивший Вторую Республику в феврале 1848 года.] – фрагментов, которые так часто мне кажутся голосом, выражающим мои мысли, песен, которые так часто мне как будто декламируются, чтобы я их узнал – которые бы восхитили и возвысили меня так, как фрагмент прозы Виейры или та или иная ода тех немногих наших классиков, что действительно следовали за Горацием.

Я читаю и чувствую себя освобожденным. Обретаю объективность. Я перестал быть мною, перестал быть распыленным. И то, что я читаю, становится не моим костюмом, на который я смотрю косо и который иногда меня тяготит, а подлинной ясностью внешнего мира, полностью очевидной, солнцем, что видит всех, Луной, бросающей тени на спокойный пол, просторами, теряющимися в море, черной прочностью деревьев, отмеченных зелеными пятнами на верхушке,

прочным покоем прудов в садах, дорогами, перекрытыми виноградниками на коротких спусках склонов.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

«Орфей» – ежеквартальный литературный журнал, положивший начало проникновению движения модернизма в Португалии. Его первый номер, вышедший в марте 1915 года и включавший в себя, среди прочих, несколько поэм Пессоа, вызвал оживленную полемику в португальской литературной среде. Пессоа выступил редактором второго номера журнала, опубликованного в июне того же года. Велась работа по подготовке третьего номера, однако он так и не увидел свет из-за трудностей с финансированием журнала. Несмотря на непродолжительное существование, журнал оставил заметный след в истории португальской культуры.

2

Альфред де Виньи (1797–1863) – граф, французский писатель, придерживавшийся консервативного романтизма. – Здесь и далее примечания переводчика.

3

Исторический квартал Лиссабона, включающий в себя нижнюю часть центра города до реки Тежу.

4

Сезариу Верде (1855–1886) – португальский поэт, сыгравший важную роль в обновлении языка португальской поэзии. Пессоа считал его одним из своих учителей.

5

Антонио Виейра (1608–1697) – португальский иезуит, занимавшийся миссионерской деятельностью в Бразилии и проявивший себя на дипломатическом поприще в Европе. Автор проповедей, которые считаются одними из лучших образцов португальской прозы эпохи барокко.

6

Луиш де Соуза (1556–1632) – доминиканский монах, прозаик и биограф.

7

Алберту Каэйру (1889–1915) – один из гетеронимов Пессоа, поэт, проживший всю жизнь в сельской местности и воспевавший природу.

8

Этьенн Пивер де Сенанкур (1770–1846) – французский писатель. В 1804 году был издан его роман «Оберманн», который представляет собой исполненную пессимизма исповедь главного героя. Выход из безотрадного существования – самоубийство, которое герой оправдывает, но не совершает.

9

Смотровые площадки, с которых открывается вид на Лиссабон.

10

Альфонс де Ламартин (1790–1869) – французский писатель и драматург романтического направления, а также политический деятель, провозгласивший Вторую Республику в феврале 1848 года.

Купить: https://telnovel.me/pessoa_fernando/kniga-nepokoya

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)